

Петр Боборыкин

У романистов



Петр Боборыкин
У романистов

«Public Domain»

1878

Боборыкин П. Д.

У романистов / П. Д. Боборыкин — «Public Domain», 1878

ISBN 978-5-457-08446-9

«К какой бы национальности ни принадлежал человек, будь он хоть самый завзятый немецкий или русский шовинист, он все-таки должен сознаться, приехавши в Париж, что дальше уже некуда двигаться, если искать центр общественной и умственной жизни. Мне на моем веку приходилось нередко видеть примеры поразительного действия Парижа на людей самых раздраженных, желчных и скучающих. В особенности сильно врезалось в память впечатление разговора с одним из наших выдающихся литературных деятелей, человеком не молодым, болезненным, склонным к язвительному и безотрадному взгляду на жизнь. Он, кажется, лет до пятидесяти не выезжал из России. Болезнь погнала его за границу, где он сначала жил на водах и на юге, а под конец попал в Париж...»

ISBN 978-5-457-08446-9

© Боборыкин П. Д., 1878

© Public Domain, 1878

Содержание

I	5
II	9
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Петр Дмитриевич Боборыкин

У романистов

(Парижские впечатления)

I

К какой бы национальности ни принадлежал человек, будь он хоть самый завзятый немецкий или русский шовинист, он все-таки должен сознаться, приехавши в Париж, что дальше уже некуда двигаться, если искать центр общественной и умственной жизни. Мне на моем веку приходилось нередко видеть примеры поразительного действия Парижа на людей самых раздраженных, желчных и скучающих. В особенности сильно врезалось в память впечатление разговора с одним из наших выдающихся литературных деятелей, человеком не молодым, болезненным, наклонным к язвительному и безотрадному взгляду на жизнь. Он, кажется, лет до пятидесяти не выезжал из России. Болезнь погнала его за границу, где он сначала жил на водах и на юге, а под конец попал в Париж. И даже этот русский скептик, способный на все ворчать, должен был признать, что в Париже дышится легко, что одна картина уличной жизни уже приятно щекочет нервы, что, словом, лучше Парижа не найдешь города. Все это я говорю не затем, конечно, чтобы вдаваться в старомодное и смешное увлечение «заграницею», французами и их «всемирным» городом. Признаюсь, я лично никогда недолголюбил той *французомании*, которой одержимы очень многие русские из так называемого образованного класса. Мне случалось довольно давно и в легких фельетонных заметках, и в отдельных статьях нападать на нашу светскую страсть к французскому языку, как известному внешнему лоску, связанному с сословным духом. Я старался всегда доказывать на фактах, что русские, употребляющие обязательно французский жаргон, в сущности, вовсе не любят Франции. Если им приятно в Париже, то потому только, что там все их пустые наклонности, все их барское шалопайство находят для себя обильную пищу. Ни один из таких русских не проходит через хорошее влияние Парижа, не способен слиться с тамошней умственной, политической и социальной жизнью. Все наше «высшее» общество держится французского жаргона, как *сословного отличия*. Дух Франции, который делался симпатичен развитому меньшинству русских, для нашей светской среды – или совсем неизвестная область, или нечто вредное, антипатичное и разрушительное. На эту разницу в отношениях к Франции, к Парижу наши публицисты недостаточно указывают, и напрасно. Не одни публицисты должны это делать, а также и беллетристические писатели, романисты и драматурги. Если бы всем и каждому было ясно, что внешний французский лоск нашего барского общества есть только известное сословное клеймо, отличие касты, образчик условной порядочности, тогда все это потеряло бы обаяние даже и в глазах менее развитой массы. По этой части типы из «порядочного» общества представляют большой комизм. Поживите вы во Франции, поработайте там, войдите в интересы лучшей доли французского общества, и, вернувшись в Петербург или Москву, вы будете поражены тем, как далеки все употребляющие у нас французский язык от всего, что вам дорого в гении и свойствах французского народа. Французский язык этих русских порядочных людей почти всегда уродливый. Он состоит только из французских слов с огромным количеством русицизмов. Из десяти собеседников девять наверно (и мужчин, и женщин) не в состоянии поддержать на своем французском жаргоне серьезного разговора, ни политического, ни литературного, ни специального. Далее толков о новой оперетке, иногда о романе и о кое-каких внешних политических

фактах, разговор не пойдет среди этих господ и госпож, обязательно употребляющих французский язык. Сколько бы они ни ездили в Париж, он все-таки для них останется большим увеселительным местом. Он никогда на них не повлияет серьезной жизненной стороной.

Даже та область, куда мы теперь заглянем, касается русских приезжих и фланеров только с внешней стороны; они читают романы, но подняться до критического взгляда на них они не в состоянии. В сфере искусств – роман и театр принадлежат Парижу более, чем какому-либо городу в мире. И то и другое превратилось там в такой же ежедневный продукт, как газеты или свежий хлеб булочника. Эти легкие доступные формы человеческой мысли слепят глаза даже и более серьезным иностранцам. Из-за них трудно разглядеть ту внутреннюю неустанную работу мысли, которая происходит в разных уголках Парижа. Заезжий иностранец – русский и всякий другой – знает Париж бульваров и спектаклей. Ему нет ни времени, ни случая, а главное – нет охоты проникать в трудовые уголки. Он снимает только слизки блестящей, увлекательной жизни. Но если бы этот иностранец явился в Париж надорванный жизнью, с настоящей душевной хандрой или после какого-нибудь житейского испытания, после суетной жизни, с переворотами, с ударами судьбы, и в нем сохранились бы умственные силы и внутренняя порядочность, то, конечно, трудовой, мыслящий Париж обновит его скорее, чем какая бы то ни было столица в мире! Учиться можно везде, в любом немецком университетском городке, и найти там даже всевозможные тонкости эрудиции. Но нет такого города, как Париж, где бы человек, жаждущий обновления, сознающий большие пробелы в своем гражданском, мыслительном или художественном развитии, мог так легко сбросить с себя и равнодушие, и усталость, и умственную лень. Первый попавшийся трудовой француз, с каким он познакомится, покажет ему на примере собственной жизни, как следует идти вперед и добиваться своих целей, как переносить неудачи. Кто бы это ни был: ученый, артист, литератор, газетный сотрудник или политический агитатор, у каждого намечена дорога, каждому можно сделать карьеру, на все существует спрос. Правда, из тысячи человек только несколько десятков добьются своего, но в других странах из этой тысячи не дойдет до своего предела и одного десятка!..

Париж мысли, таланта и умственного труда занимает две топографические местности. Одна на правом берегу Сены, над бульварами, в улицах, ведущих к Монмартрским высотам; другая – на левом, в так называемом до сих пор Латинском квартале. По составу местность правого берега представляет собою более однообразный характер. Там живут литераторы всяких специальностей и оттенков, но уже люди профессии, составившие себе положение, или простые труженики прессы, но уже не ищущие больше других путей успеха и заработка. Там же живут и художники – и с именем и без имени. На левом берегу интеллигентное население гораздо разнообразнее. Тут и студенты, тут и начинающие артисты и актеры, тут и молодые ученые, тут же и академики, профессора, специалисты и просто мыслители, живущие и совершенном уединении, не мечтающие о приманках Бнешней карьеры...

Недавно в одной из книжек «Вестника Европы» Эмиль Золя набросал картину жизни и нравов современной парижской молодежи, которая из всех концов Франции стремится в Латинский квартал. Он отнесся к этой молодежи строго, но не придирчиво. Я знал ее с половины 60-х годов. Можно и тогда было сказать почти то же самое. Но эта общая картина все-таки не дает понятия о том, что такое мыслительная и трудовая жизнь на левом берегу Сены, где приютилась молодежь. И во Вторую империю, и теперь, при республике, масса студентов медицинской школы, юридической школы и Сорбонны жила и живет праздно. И до сих пор стоит вам только пройти или проехать по главной артерии Латинского квартала – бульвару St. Michel – и вы увидите те же кафе, к вечеру битком набитые студентами, те же пивные с женской прислугой (caboulots), тот же публичный бал Бюлле, где по воскресеньям и четвергам пляшут сотни студентов.

И провинциалы и парижане одинаково легко смотрят на студенческое время. Почти все они дети достаточных родителей и знают, что, кое-как взявши звание *tiscencie* (кандидата (фр.)) или диплом доктора, они найдут себе место, или папенька купит им контору нотариуса. Но среди этой тысячной толпы гуляк, фланеров, «блягеров», любителей женского пола живут и молодые люди совсем другого типа. Их трудно узнать, но узнать можно. Стоит только походить в публичные библиотеки, читальни, на лекции. В течение четырех сряду лет, которые я провел в Париже, мне удавалось знакомиться с молодыми людьми такого именно типа. Не все они были бедняки: некоторым родители высылали по две, по три тысячи франков в год. Между ними, помимо людей даровитых и блестящих, я находил и отличных тружеников, необычайно выносливые натуры; некоторые поражали даже нас, русских, способностью к какой-то, не то что уж лихорадочной, а *сверхъестественной* деятельности. Один из таких французов погиб на моих глазах жертвой адски усиленного труда. Обыкновенно французские фельетонисты и писатели любят распространяться о той молодежи Латинского квартала, которая ведет жизнь *богеми*, мечтает о литературной славе, больше болтает, шумит и пьет, чем делает дело.

Поэт Мюрже связал свое имя с этим царством богемы, и до сих пор у всякого читателя при одном имени Латинского квартала возникают в воображении картинки разгульной, беззаботной жизни, попавшие и в стихи, и в рассказы, и на сцену. Но и тогда еще это не было вполне верно. Припомните, что говорит о богеме времен Мюрже товарищ его и приятель — французский беллетрист Шанфлери. Он в своих воспоминаниях уверяет, что и тогда и он, и его ближайшие приятели не предавались вовсе поэтическому ничегонеделанию: они были для этого слишком бедны; рядом с порыванием в область идеала нужно было подумать и о насущном куске. Только в то время романтизм накладывал на жизнь молодежи более яркий колорит, а теперь и в Латинском квартале царствует уже более трезвый, положительный дух.

Теперь молодежь распадается на два главных оттенка: или истинно трудовые люди, или же пустые фланёры, неспособные, вплоть до окончания курса, над чем-нибудь задуматься. Но и теперь есть кружки, стремящиеся к художественным наслаждениям, мечтающие о славе поэта, новатора в драме, романе и часто стихотворных произведениях. Несмотря на разрастающийся культ чувственных удовольствий, денег, мелкого честолюбия, мы видим, что в том же Латинском квартале зародилась новая семья молодых поэтов. Это поэтическое движение назрело в последние годы Второй империи. К половине 70-х годов один из парижских издателей мог уже напечатать большой том стихотворений, который он озаглавил «Парнас». В него вошли отдельные пьесы нескольких десятков молодых, начинающих поэтов. Между ними есть люди крупного дарования, как, например, Ришпен, уже известный русской публике в переводах. Меньшинство этой поэтической плеяды составляют поэты-колористы реального оттенка. Они не останавливаются ни перед какими смелостями, но не из желания вдаваться в какую-нибудь прозаическую односторонность, нет: они только ищут самых реальных выразительных форм, не пугаются никакой правды, но желают облекать ее в жизненные краски, действовать на читателя не сантиментальностью, не условными метафорами, а чем-нибудь новым, сильным, выхваченным из жизни.

Рядом с этими *колористами* реального характера заявляют себя и поэты с философскою мыслью, с смелым интеллигентным протестом. Они уже высвободились из-под влияния прежней декламации, стряхнули с себя устарелый налет романтизма и сладких поэтических бредней. Но есть и такие, которые чересчур вдаются в обрабатывание формы. Они продолжают традиции В. Гюго и смотрят на него, как на своего великого учителя. Все эти оттенки были также не так давно характеризованы Э. Золя в одном из его русских писем. Мне рассказывали, что кружок самых смелых реальных колористов, с Ришпеном во главе, в известной степени продолжает традиции той богемы, которая воспета поэтом Мюрже. Эти молодые люди не хотят ничего знать, кроме своей рифмы и своих цветистых образов, сидят

по пивным, любят разгульную жизнь, не мечтают о деловой карьере и ко всему относятся с тем «черт побери», которое так соблазнительно было для парижского юношества 30 и 40 лет тому назад; многие считают их даже циниками.

Каковы бы они ни были, это распускание новой поэзии на рубеже Второй империи и Третьей республики показывает, что французская молодежь живет, а не прозябает. Она могла временно подчиниться растлевающим дыханием бонапартова режима. Две трети ее бросились на наживу, на грубый материализм, на погоню за местами и окладами, но известная доля осталась восприимчивой к мысли и красоте. Мозг в ней по-прежнему ищет новой работы, кровь волнуется во имя светлых идей и творческих образов, увлечения молодости служат материалом для художественного воспроизведения жизни; сердца ее бьются в унисон со всем лучшим, что французская нация вырабатывает в лице своих бойцов за свободу ума, человеческие права и общественную правду.

Из числа этих поэтов очень многие обратятся и к роману, и к театру, и к журнализму. Да и теперь рядом с ними в мансардах и в маленьких комнатках дешевых отелей живут будущие крупные деятели. Двадцать лет тому назад, один из блестящих теперешних романистов, Альфонс Доде, затерян был также среди этой молодежи. Он рассказывает русским читателям свою эпопею. И его тогда каждый смешивал с толпой студентов, шатающихся по бульвару St. Michel и около театра «Одеон». Другой романист, сильнее по таланту, завоевавший себе едва ли не первое место во французской современной беллетристике, Эмиль Золя каких-нибудь 10–12 лет тому назад ходил также по Латинскому кварталу без дела, пробиваясь в страшной бедности, и не знал, что ему начать, чтобы выбиться на дорогу...

Но каждого такого приезжего провинциала, всякого голяка-юношу, нюхнувшего приманок Парижа и не потерявшего сознания своей личности, своих сил и стремлений, влечет вперед пример других голяков, которые приходили на эту всемирную арену борьбы и соревнования и добивались всего, что им грезилось на их чердаках: славы, денег, положения, влияния, возможности бороться за дорогие идеи и принципы! До сих пор Париж – лучезарное Эльдorado писателей и художников. Положим, и Лондон может давать огромные деньги своим романистам. Даже в Германии Шпильгаген и Ауэрбах получают капиталы за каждый новый роман; но, кроме денег, Париж дает, и многое другое. Из-за этого-то *другого* люди и не теряют энергии тогда, когда у нас человек уже похож на выжатый лимон, когда он еле-еле дотягивает свою житейскую долю, потеряв веру и в себя, и в «среду», и в свою будущность...

II

Французский писатель может достигать решительно всего. Первый большой успех романа, книги, пьесы делает его личностью всемирно известной. Если он человек тихий, любящий свободу, уединение и сознание честно приобретенного имени, он проживет весь свой век спокойно, составит себе состояние и, когда пожелает отдыхать, старость его обеспечена от всяких случайностей. Если он честолобив, одно имя известного или знаменитого литератора дает ему ход во всех направлениях общественной деятельности. Оставаясь *только писателем*, он будет избран во Французскую академию или Институт, не заискивая в государственной администрации, сохраняя независимость в своих политических взглядах. Он легко может сделаться главою школы. Ему предложат руководить каким-нибудь журналом. Под его влиянием будут воспитываться целые поколения.

В чисто политической сфере можно идти еще быстрее. Если у него выработаны убеждения известной партии, она с охотой выставит его вперед и на муниципальных и на парламентских выборах. Он попадет в мэры, муниципальные советники, а потом и в депутаты, в сенаторы, в министры. Кроме адвокатов, писательская корпорация доставляет самый большой набор людей, играющих роль в политическом мире. Недаром на Международном литературном конгрессе Эдмон Абу указывал на тех писателей во Франции, которые достигали самых высших государственных званий. Ламартин – поэт и Тьер – журналист и историк были на протяжении тридцати лет президентами Французской республики. Гамбетта хотя и адвокат по своему званию, но, в сущности, никогда не переставал быть журналистом, да и до сих пор хозяин журнала, пишущий в нем руководящие статьи. В сенате и Палате депутатов литераторов насчитывается десятками.

Есть одна литературная личность, именно В. Гюго, который, и как поэт и как гражданин, занимает исключительное положение. Он, кроме того, сенатор; около него группируется целая парламентская партия, не смотря на то, что он давно уже огорчает искренних и серьезных республиканцев своей погоней за популярностью, своими декламаторскими, часто смешноватыми речами. Я уже говорил в своем письме из Парижа, что его литературное положение – небывалое во Франции в последние 50 лет. Но такое положение, если еще не высшее, имели уже во Франции другие писатели. Пускай читатель вспомнит факты, недавно еще приведенные на память в статье о Вольтере. Уже в XVIII веке простой писатель мог занимать положение высшее, чем король, и это было *сто лет* тому назад. Да и не один Вольтер – каждый выдающийся писатель тогдашней эпохи уже возбуждал зависть в заграничных литераторах. Лессинг был не охотник до французов и в особенности до Вольтера, а загляните в его «Гамбургскую драматургию», и вы найдете там в одном месте его жалобы, как немца, на низменное положение литературы в Германии. Он указывает на один факт, именно на то, что жители города Кале воздавали огромные почести автору посредственной пьесы, написанной на патриотическую тему, из истории этого города. И тогда, то есть слишком сто лет тому назад, Франция умела уже награждать талант, выдвигать людей мысли и творческого почина!..

Но в Париже сосредоточена и масса простого пишущего люда. Иностранец, попавший на Международный литературный конгресс, устроенный парижским Обществом писателей, мог и на заседаниях этого конгресса видеть немало образчиков среднего парижского писателя. Впечатление залы было весьма не блистательное. Вы видели перед собою заурядных романистов и газетных сотрудников: усталые лица, поношенное платье, преждевременная плешивость, неособенное изящество приемов и тона – все это говорило вам, что серый трудовой люд парижского литературного мира не очень благоденствует. Но и такое впечатление все-таки обманчиво.

Заурядный парижский литератор должен много работать; потому и старится скоро. Неумеренная работа нужна ему, чтобы скопить себе капитал и жить потом на ренту. Для этого ему необходимо получать в год от 20 000 до 30 000 франков. И он их получит. Русский писатель, при той же энергии, при той же неумолимости труда, не в состоянии будет зарабатывать и половины, занимаясь тем же сортом литературы. Мне указывали на десятки плохих газетных романистов и поставщиков второстепенных парижских сцен, которые средней цифрой получают тридцать и больше тысяч франков в год. Правда, они пишут в год три-четыре романа и ставят по несколько пьес. Но если даже такая производительность и существовала бы у русского заурядного литератора, ему негде поместить свои манускрипты. Газеты мало печатают у нас беллетристики, а в столицах всего по одному казенному театру, платящему, и то очень скудно, перспективный гонорар. И выходит, что и заурядные деятели, если они пробились и нашли себе покупателей, все-таки легче добиваются своих, хотя бы и чисто материальных целей.

Сколько мне лично удалось (и в прежние мои поездки во Францию, и в этом году на конгрессе) присмотреться к французским писателям-беллетристам, взятым в массу, я не скажу, чтобы они поражали русского своей развитостью, по крайней мере как мы ее понимаем. В последнее время русских беллетристов, и не без причины, стали упрекать в недостатке образования, в том, что они замыкаются в тесную сферу наблюдательности, мало читают, живут слишком ограниченными интересами. Нечего греха таить, такие писатели водятся на Руси. Но все, что у нас прошло через университет, приобретает привычку к некоторой ширине мысли, знает два-три языка, хотя и поверхностно, но разносторонне смотрит на многие вопросы. Как бы к нам, русским, ни придирались, но недаром приписывают нам склонность к космополитизму, а стало быть, и к *пониманию всего того, что делается в человечестве*. Такие свойства найдете вы и во многих русских писателях-беллетристах. И мне кажется, что средней руки французский романист или драматург окажется по своему развитию одностороннее и уже. Он слишком француз.

Если он рано начал писать исключительно романы, фельетоны и пьесы, то ему уже решительно некогда идти далее в своем общем образовании. Языков они почти не знают, всего больше языкознания найдете вы у людей кабинетных, у эрудитов, пристрастившихся то к английской беллетристике, то к итальянской поэзии или к испанской драме. Но заурядный парижский литератор – не язычник. Всего чаще он знает по-английски, и то немного, настолько, чтобы прочитать газетную статью или роман полегче. Немецкая литература до последнего времени для них – неизведанная страна. Если вы и встретите литератора, бойко говорящего с вами о разных эпохах из истории иностранных литератур, то поверьте, он это вычитал в последнее время в популярных обозрениях и книгах. При этом он не затруднится говорить обо всем, что ему известно только по заглавиям и общим характеристикам, самоувереннее, легче, резче, чем бы это сделал русский средней начитанности.

Погоня за положением, за обеспеченностью делает то, что парижский романист, драматург и газетный сотрудник действительно пишут с утра до ночи. Когда-то, в одном из моих парижских очерков, я знакомил русского читателя с тем, что такое трудовой день любого бульварного драматурга или сочинителя фельетонных романов. Эти люди, надсаживающие свое воображение, придумывая разные фантастические сюжеты и эротические сцены, в сущности, ведут жизнь чернорабочих. Обыкновенно они только в часы завтрака, обеда и послеобеденного отдыха живут как люди. Остальное время запираются и строчат. Покойный романист Понсон дю Террайль, несмотря на то, что был человек светский, с дворянской фамилией, семейный и, кажется, даже прекрасный семьянин, проводил целый день где-то в глухом квартале, в комнатке, куда убегал с восьми часов утра и возвращался домой только к позднему обеду.

Из живущих – типом такого литературного дельца может служить второстепенный романист и драматург Бело, достаточно известный и русской публике автор «Огненной женщины». Он довольно усердно посещал заседания Международного конгресса. Мне лично случилось с ним не раз беседовать; да и прежде я слышал от его собратьев, что он отличается своим трудолюбием, ловкостью, с какой помещает романы и драмы, умением, написавши посредственный роман, сколотить на него тысяч 25–30 франков, переделать из этого романа такую же посредственную драму и за нее получить не меньшую сумму. Иная русская барыня, читая «Огненную женщину» или смотря драму «L'article 47»¹, воображает, вероятно, что этот Бело по своему наружному типу, фигуре, разговору, образу жизни – блестящий фешенебль, порхающий по Парижу для собирания пикантных сюжетов. А в действительности, это – коренастый, толстоватый человек лет за пятьдесят, с красным лицом, лысиной, хриплым голосом, с манерами и всей общей повадкой какого-то не то отставного майора, не то хозяина мелочной лавочки. Нет ничего общего между его драмами и романами и его личностью.

Таких Бело, в больших и меньших размерах, – десятки в Париже. И прежде, чем они добьются известности и 30 000 франков дохода, им необходимо проходить через адскую работу. Быть может, нигде искус не представляет таких испытаний, как в Париже; это было и сорок лет тому назад, и теперь существует. Припомните, сколько нужно было Бальзаку написать томов, чтобы *пробиться*? Целую библиотеку. Это – факт из 30-х годов. А на нашей памяти несколько лет тому назад романист Габорио получил вдруг известность одним уголовным романом и стал в один год модным писателем, собиравшим большую денежную жатву с редакторов газет за свои романы. Но этот Габорио писал десяток лет роман за романом, продавая их за ничтожную плату, голодая и бедствуя. Иначе и не может быть в таком громадном приемнике литературной производительности!

Гораздо выгоднее романа – театр. Нет такой страны, кроме Франции, где бы одна пьеса давала в случае успеха до 100 000 франков в одном городе. Вне Франции один только английский писатель, мне лично знакомый, Дайон-Буссико, составил себе миллионное состояние, давая посредственные мелодрамы одновременно в Лондоне и в больших городах Англии и Америки. Но для этого он выдумал целую систему постановки своих пьес, то есть делался их главным подрядчиком. В Париже дело происходит гораздо проще. Вы составили себе имя одной пьесой. Директора уже не задумаются пригласить вас работать на них. А Общество драматических писателей, которого вы членом, берет на себя труд получать ваши деньги и ограждать права и в Париже, и в провинции, и за границей. Средний вечеровой сбор в парижском театре порядочных размеров – от пяти до семи тысяч франков. Вы, как писатель, получаете 12 % с валового сбора. При большом успехе ваша пьеса может в течение одного сезона идти сто, полтора и двести раз, а то и больше; так бывали случаи, что драма, фее-рия или комедия шли круглый год и заходили даже на следующий. В итоге это – от 60 000 до 120 000 франков в провинции и за границей. Дюма-сын, как всем известно, составил себе состояние пятью пьесами, имевшими подряд – иные большой, другие средний успех. Поэтому-то каждый французский писатель, будь он поэт, журналист, театральный критик, романист или даже публицист, непременно попробует себя на театре. Я лично не знаком ни с одним французским романистом, имеющим имя, который бы явно или под псевдонимом, или в сотрудничестве не пытался добиться успеха на сцене. Если не взрослым, вполне писателем, то, по всей вероятности, живя в Латинском квартале, он непременно снес директору драму, водевиль или либретто.

К таким трем романистам, составляющим теперь генеральный штаб парижской реальной школы, я и поведу читателя. Из них один в сотрудничестве с братом когда-то поставил

¹ «Статья 47» (фр.)

пьесу, и неуспешно. После того он уже больше не возвращался к театру. Другой писал много для театра, иногда с средним успехом, иногда неудачно. Теперь он оставил, кажется, совсем сцену, чтобы предаться исключительно роману, где в какие-нибудь три года занял блистательное место; третий – романист *по преимуществу*, начавший с романа и добившийся не дальше как в 1877 году первого огромного успеха, все-таки хочет быть комическим писателем. И несмотря на то, что уже две его попытки провалились, он упорствует в этом и не желает покидать театра – из-за денежных расчетов или из-за славы, это уже его дело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.